

АНАТОЛИЙ ЕГИН



В ПЛЕНУ У ЖИЗНИ

ПОВЕСТЬ

В один из мартовских вечеров 1994 года Сафронова пригласил к себе губернатор:

— Виктор Григорьевич, не съездить ли тебе в Польшу, ну, скажем, в Белотоцк? Я там бывал в советские времена, текстильное производство у них не меньше нашего. Ты — инженер-текстильщик, тебе и карты в руки. У поляков перестройка раньше нашего лет на пять началась, они раньше шишек себе набили и по пуду соли съели, может, чему-то у них поучимся. Давай, прозондируй почву и готовься в командировку.

Самолёт приземлился в Варшавском аэропорту имени Шопена точно по расписанию. Сафронова встречали, на выходе он увидел в руках ухоженного чиновника табличку со своей фамилией и пошёл в ту сторону.

— Добрый день! Сафронов это я.

Встречающий чиновник какой-то момент был неподвижен и безмолвен, но вскоре пришёл в себя:

— Очень рад, пан Сафронов. Здравствуйте! Я Збигнев Ясносекирский сотрудник отдела зарубежных связей мэрии Белотоцка. Прошу вас следовать за мной, нас ожидает автомобиль.

Двести километров до Белотоцка проехали быстро, дорога в идеальном состоянии. Сам же Белотоцк, город с шестивековой историей, не богат,

ЕГИН Анатолий Иванович родился в 1946 году, живёт и работает в Волгограде. Заслуженный врач России, кандидат медицинских наук, член Союза писателей России, автор 6 стихотворных сборников и 3 книг повестей и рассказов, лауреат Всероссийской литературной премии “Сталинград” и Государственной премии Волгоградской области по литературе и искусству, печатался в журналах “Отчий край” и “Огни Казани”. Произведения А. Егина переведены на армянский и татарский языки.

не помпезен, не многоэтажен, из массы двух-трёхэтажных зданий выделялись шпили костёлов да купола православных храмов. Город делила надвое небольшая и неглубокая река, через которую было переброшено несколько мостов без всяких украшений. Мэрия располагалась в здании старой ратуши, построенной в немецком стиле. Когда вошли в неё, Сафронов почувствовал на себе взгляды проходящих по коридорам людей, один из идущих навстречу с толстой папкой в руках вытянулся в струнку и пожелал пану мэру доброго здоровья. Что бы это значило? Вошли в приёмную мэра, секретарша испугано вскочила с места, смотрела то на дверь кабинета, то на Сафронова и только когда увидела Ясносекирского, заулыбалась и приветствовала гостя.

— Я вас чем-то обескуражил? — с удивлением спросил Виктор Григорьевич. Ясносекирский перевёл.

— Нет, нет. Что вы!

— И тем не менее, — продолжил Сафронов, обращаясь уже к Збигневу, — с самого аэропорта я обратил внимание на растерянные взгляды встречающих меня людей.

— Нет, ну что вы! Что вы, господин мэр! Может, и есть небольшое смущение, но оно не вызвано чем-то странным с вашей стороны. Ответ на свой вопрос вы найдёте скоро. А сейчас вас ждёт наш начальник.

Секретарша распахнула дверь, Ясносекирский громко объявил:

— Мэр Средневожска господин Виктор Сафронов.

Из-за стола навстречу гостю поднялся и пошёл навстречу человек такой же походкой, как у Виктора, и если бы не причёска, гость подумал бы, что к нему подходит его отражение. Гжегош Гаевский тоже был удивлён.

— Здравствуйте, дорогой коллега! Мы с вами, как два брата близнеца! Подойдём к зеркалу?

— Да! Бывает же такое! Правда, цвет глаз у нас разный и волосы у вас русые, а я блондин. Поразительно! Ну, братьями мы быть не можем, зато двойники — точно.

— Это так. И по профессии, и по служебному званию тоже. Вы какого года рождения, господин Сафронов?

— Я родился в июле сорок шестого.

— Выходит, я старше вас. Мама родила меня в январе сорок пятого.

— Пан Гаевский, откуда у вас такой прекрасный русский язык?

— Я учил его с детства, мама так хотела. Вблизи хутора, где я родился, жило много белорусов, а потом в школе русский язык нам преподавала москвичка пани Нифонтова, жена вашего офицера, моё произношение — её заслуга.

После обеда состоялась встреча с работниками мэрии. За несколько часов с интересом обсудили массу вопросов, говорили о муниципальном образовании, здравоохранении, социальной защите населения, коммунальном хозяйстве. Проблемы во многом схожие, Сафронов убедился, что в Польше часть того, что сейчас мучает Россию, уже преодолели, но кое-где не совсем успешно. Главный вопрос — инвестирование в экономику и городское хозяйство — оставили на завтра. Ужин Гаевский предложил провести вдвоём в небольшом уютном шинке, где они славно отведали блюда деревенской кухни, выпили домашней водки на брудершафт и перешли на “ты”.

Утро следующего дня выдалось солнечным и по-весеннему тёплым. Сафронов вышел на улицу прогуляться по набережной реки и уже без удивления отвечал на приветствия прохожих, подмечая, что горожане хорошо знают своего мэра и уважают, ибо каждое приветствие сопровождалось доброй улыбкой.

День оказался профессионально-текстильным. Осмотр комбината не открыл для Виктора ничего нового. Ткацкие и отделочные фабрики почти ничем не отличались от наших. В ту пору все предприятия социалистических стран, некогда входивших в Совет экономической взаимопомощи, покупали оборудование из одного источника, технологии во многом совпадали, да и сырьё, если не всё, то уж точно наполовину шло из азиатских республик СССР.

Всё старое производство Белотоцкого комбината работало на тридцать процентов от своих мощностей. Изюминку Сафронову показали в конце: но-

вый ткацкий цех, полностью автоматизированный, включая отделку. Обслуживала процесс производства смена из пяти наладчиков и дежурный программист. Оборудование всё из Германии и уже больше года работало без сбоев.

— Это производство даёт нам немалую прибыль, ещё год — и все затраты окупятся, продукция станет подешевле, реализация увеличится, прибыли будет больше, а значит, и в городскую казну налоговых отчислений прибавится, — сказал Гаевский.

— Это так. Но как же рабочие места для горожан?

— Проблема есть, однако и это мы продумали, через год открываем швейное производство, опираясь на китайский опыт. Китайские текстильщики закупают швейное оборудование и сдают в аренду частникам, те массово шьют одежду для всех категорий и возрастов... Россию они ещё не завалили своими товарами?

— Дальний Восток почти завалили и к нам в Европейскую часть везут активно. Но мне хотелось бы вернуться к вашим делам. Я так понял, что всех бывших работников комбината вы не трудоустроите.

— Да, думаю, это невозможно. К сожалению, таковы реалии нового времени, и мы от них не отмахнёмся и старыми методами не исправим. Нужны инвестиции в новые производства и в другие отрасли. В наших странах есть преимущество не очень дорогой рабочей силы, но для новых производств нужны новые работники или хорошо переученные старые, а это опять деньги. Мы не боимся пускать к себе инвесторов из Европы и Азии, пусть строят предприятия, готовят рабочих, обеспечивают их местами, а цеха хозяева с собой не унесут. Только вот не очень спешит к нам бизнес с инвестициями, боятся, не повернём ли мы вспять, для того-то и нужна твёрдая, чёткая позиция государства.

Они ещё долго обсуждали экономические вопросы, каждый искал свой ответ, но к вечеру, вдоволь наговорившись, пришли к выводу, что экономика экономикой, а ужин не помешает.

Любовь Гаевская, в девичестве Пашкевич, оказалась белорусской, и не удивительно, ведь треть жителей Белотоцка — белорусы. За ужином общение шло на русском языке. Люба хорошо знала историю, разбиралась в живописи и музыке и, конечно, в правоведении, поскольку была юристом. Собеседники коснулись многих вопросов, не обошли и политику. Ближе к концу ужина заговорили о родителях. Люба рассказала, что её отец был дворянином, строго относился к воспитанию детей, старался с детства прививать им любовь к познанию мира.

— Ваши предки тоже были дворянами? — спросила она Виктора.

— Вообще нет. Крестьяне. Отец и мать родились в деревне Лысогорке, где потом родился и я. Мама волею судеб стала трактористкой. В ту пору, когда все мужики ушли защищать Родину, она села за рычаги трактора, надо же было кому-то пахать и сеять. А отец, Григорий Сергеевич, был мастером на все руки, жизнь заставила. Он родился восьмым ребёнком в семье. Когда ему было девять, умер мой дед Сергей, а через пять лет умерла бабушка. Старшие братья и сестра уже жили своими семьями, средние уехали учиться или служить в армии, а отец остался в семье за старшего и на его попечении — два младших брата. Вот тогда и стал Григорий Сергеевич поваром и пекарем, полеводом и конюхом, кузнецом и плотником, а музыкантом он был с детства, в нашем доме всегда звучали гармонь и скрипка. Мой папа был очень талантливым человеком, за что ни возьмётся — всё получается. Только вот не везло ему в жизни, во время войны попал в плен к немцам, бежал, прятался на каком-то хуторе у польских крестьян. По приходу советских войск служил в штрафном батальоне до Победы, а потом с сорок пятого по пятьдесят третий ежемесячно ездил в районный центр, отчитывался о своей жизнедеятельности, о том, что не совершил никаких антисоветских проступков.

Собеседники притихли.

— Да, нелегко пришлось твоему отцу и моему тёзке, — после паузы произнёс Гжегош. — Скажи, а в каком лагере был твой отец?

— В Треблинке.

— Так это же недалеко отсюда. Лагерных построек там не осталось, немцы всё после восстания заключённых уничтожили. А музей на этом месте наши после войны сделали, может быть, и о твоём отце какие-то сведения отыскать можно. Кстати, в двенадцати километрах от этого лагеря стоит хутор, где я родился, мама моя и сейчас там живёт.

— Так вы, господа мэры, завтра и отправились бы туда, — вмешалась в разговор Люба. — Меня тоже бы с собой взяли, я свекровь уже около года не видела.

Весна уже полностью овладела востоком Польши, дни стояли тёплые и солнечные, сочная трава по утрам блестела росой, а молодые тонкие листочки деревьев и кустарников источали тонкий аромат. Наступала пора цветения садов, ещё только начинал проклёвываться белый цвет на набухших бутонах яблонь, день-два — и деревья вспыхнут ярким бело-розовым цветом.

Вокруг царило весеннее утро, лёгкое и прозрачное. “Фольксваген” Гжегоша катил по песчаной просёлочной дороге к родному хутору. Виктор любовался сосновым лесом. Стройные высоченные деревья, высаженные когда-то человеком на песках, превратили землю из пустыни в лесной цветущий рай. Выехали на огромную поляну плодородной земли, вокруг — поля с весёлым ковром озимой пшеницы, а вдаль у леса виднелись жилые и хозяйственные постройки хутора. Автомобиль лихо подрулил ко двору. На пороге стояла дама почтенного возраста, одетая в брючный костюм василькового цвета, волосы уложены в простую гладкую причёску с тугим калачиком на затылке. Сын пошёл навстречу матери.

— Знакомься, мама. Это мой друг и коллега из России Виктор Григорьевич Сафронов. Виктор, а это моя мамочка Агнесса Гаевская, или по-вашему Агнесса Станиславовна, а по-нашему, просто тётя Агнешка.

Та глянула на гостя и остолбенела, глаза её наполнялись слезами, а губы шептали:

— Гжегош! Мой Гжегош Сафронов!

— Мама, Гжегош это я, а он Виктор.

Но мать не слышала сына, она продолжала говорить:

— Гриша, это мой Гриша!

Гости стояли и переглядывались друг с другом, начали догадываться. Агнешка позвала Виктора, обняла гостя и начала целовать.

— Матка боска! Как же ты похож на своего отца! Ведь твой отец Гриша Сафронов из деревни Лысогорка?

Виктор кивнул. Слезы из глаз Агнии покатались градом, колени задрожали, и, если бы её не поддерживал сын, она точно бы села наземь.

— Пойдёмте, дети, в дом, присядем, разговор будет долгим... Сын мой Гжегош, ты прости меня, если сможешь, что долго держала тебя в неведении, но твой отец не Бронислав, который погиб в конце войны, твой отец русский человек Григорий Сафронов, и вы с Виктором — братья. Бронислав действительно скрывался у нас на хуторе от солдат Красной армии, но я тогда уже была беременна тобой, когда же Бронислав исчез, пришлось сказать, что беременна от него, иначе меня бы не поняли хуторяне, хотя и так не поняли и осуждали. А вот о том, что у нас в семье год жил Григорий, никто не знал. — Она сделала паузу, посмотрела на детей, те сидели молча, ожидая продолжения... — А теперь ты, Виктор, расскажи, где твой отец, жив ли он?

— Нет, пани Гаевская, он умер в шестьдесят седьмом, умер от инсульта, в шестьдесят четвёртом у него отнялась правая сторона, не работала рука и нога, но речь была ясной до самой смерти. Отец часто приглашал меня поговорить и сетовал на то, что он был в плену у обстоятельств, не он руководил ситуациями, а жизнь сама решала, что ему делать. В шестьдесят седьмом году у папы отнялась и левая половина тела, он начал быстро угащать. Когда он прощался с нами за несколько минут до ухода в мир иной, он хотел сказать многое, но часть его речи для меня была загадкой. Последнее, что он сказал: “Прости меня, Агнешка!” Сказал и умер.

Агния Станиславовна заплакала, сын обнял мать и поглаживал её по плечу, успокаивая. Она встала, подозвала к себе молодёжь и, как могла, обняла сразу троих, долго не отпуская. Потом вытерла слёзы и спросила:

— Виктор, ты не будешь возражать, если я стану называть тебя сыном.

— Нет, не буду. Вы же мама моего брата.

— Что ж дети мои, жизнь очень удивительная штука и повороты у неё часто бывают такими крутыми, что только успевай поворачивать, не успеешь, пеняй на себя. Ну, да ладно. Хорошо, что Бог с нами, пусть он не покинет нас... Давайте накрывать на стол.

На столе появились вареники с капустой и картошкой, приправленные жареным салом с луком, салат из тёртой редьки. Отдельно были поданы вареники с творогом, утопающие в сметане, молоко. На сковороде шкворчала домашняя колбаса. Гжегош принёс из машины бутылку виски.

— Сынок, и охота вам пить этот английский самогон? Я вас сейчас угощу тем, что любил ваш отец.

Агния шустро, как молодая девчонка, спустилась в погреб и принесла оттуда старинную четверть — трёхлитровую бутылку домашней водки.

— Этого хватит? — спросила она, улыбаясь.

Все дружно засмеялись, потом налили. Виктор подошёл к Гжегошу:

— За твоё здоровье, мой средний брат! А у нас с тобой есть старший брат Евгений, тридцать девятого года рождения. Давай за нас! За братьев Сафроновых!

Потом вышли за маму Агнешку, почтили память отца, вспомнили маму Виктора, хорошо закусили.

— Дети мои, я очень рада, что вы в прекрасном настроении, а потому пришла пора предъявить вам один документ, он, пожалуй, будет красноречивей всех наших разговоров. — Агния удалилась в свою комнату, вскоре вернулась с небольшим деревянным ящичком в руках, открыла его и извлекла две обыкновенных школьных тетради: — Это записи вашего отца. Я их читала не один раз, но не всё поняла, не хватило моих знаний по русскому языку, вы же все хорошо его знаете, прочтёте сами и мне растолкуете. Читать тебе, Виктор.

Сафронов открыл первую тетрадь и сразу узнал почерк отца. Текст был написан химическим карандашом и хорошо сохранился. Он покашлял и начал читать:

“Я, Сафронов Григорий, родился восьмым ребёнком в крестьянской семье Сергея и Евдокии из деревни Лысогорки, что у истоков реки Медведицы в Средневожской губернии. Родился я в 1913 году, после меня родились ещё два брата Иван и Александр, и всего нас у отца с матерью было десять, восемь сыновей и две дочери. Самый старший Матвей женился, когда мне было четыре года, его жена Аграфена родила их первенца Петра в тот же год, когда мать родила нам последнего брата.

Детство моё было обыкновенным, как у всех крестьянских детей, сильную работу мы выполняли с ранних лет. К пяти-шести годам нас заставляли пасти цыплят, чтобы коршуны не могли схватить этих ярких жёлтых малюток, чтобы не затерялись они в густой траве. Вот и бегали мы за ними, сбивая в кучу, и постоянно пересчитывали. В возрасте десяти лет нам поручали нянчить младших братьев или племянников, когда старшие работали в поле. А дальше — больше: запрягали лошадей, отгоняли и встречали из стада скот, убивались в коровниках и свинарниках, сажали и копали картошку, рубили дрова, добывали гончарную глину, да разве всё перечислишь, с раннего детства постоянно в работе, и нам это нравилось. Мы хотели поскорее стать взрослыми, сеять, жать, молотить, возить зерно на мельницу.

Были у нас игры и развлечения. Летом в погожие дни купались в нашей речке Степнухе, ловили рыбу, обтянем банку материей, сделаем в ней дырочку, на дно хлебных крошек насыпем и в воду, через час в банке десяток пескарей. За день наловишь на хорошую сковороду, мама жарила и нас нахваливала. Нравилось нам ходить в лес по грибы и ягоды. В июне в лесу земляники было видимо-невидимо, собирали её, на зиму заливали мёдом, сахар стоил дорого. Но главной радостью для нас были праздники. Рождество, Масленица, Пасха, приезжали в гости мамыны братья и сёстры из соседней деревни, нас катали на санях, лепили целые снежные городки, которые одни обороняли, другие штурмовали, снарядами были снежки. На Рождество

славили, домой возвращались с богатыми гостинцами, разной снедью, перепадали нам и мелкие деньги. На Пасху играли в “бабки”, катали с горки крашенные яйца, от души наедались пирогов и разных мясных продуктов, ибо в будние дни обычной пищей были щи, каши, картошка и хлеб.

Но детство моё закончилось рано, не исполнилось мне и девяти лет, как умер отец, он был зимой на заработках в Царицыне, возвращаясь домой, простыл, заболел — и всё, не стало у нас тяти. А был он у нас мастеровой, умел делать всё, как говорили в деревне: и швец, и жнец, и на дуде игрец. И было это правдой, отец был не только умелым крестьянином, но слыл и неплохим плотником, знал кузнечное дело, валял валенки, стеклил окна, а на досуге играл на скрипке и гармошке и нас неназойливо учил всему. С его уходом семья осиротела. Я помогал маме, осваивал часть женских работ по дому, доил корову, готовил пищу, это бывало летом во время полевых работ, тогда я был в доме полным хозяином и нянькой.

Так пролетели пять лет. В конце 1927 года слегла наша мама, худеть стала, высохла вся, как щепка, боли в животе были сильные. Районные врачи сказали, что это рак и сделать ничего нельзя. Долго мучилась мама, а на прощанье позвала меня, надела свой крестик нательный, поцеловала и сказала: “Тебе, Гришенька, теперь быть за мать в нашей семье. Ты уж прости, сынок, что не нарожала вам побольше сестёр. Малых блюди, корми, одевай, обшивай. Видать, судьба у тебя такая — всякую работу уметь делать. Ваню, как школу закончит, учиться отправьте, уж больно он смышлённый, не крестьянского труда человек родился, а умственного. Сашку не обижай, сам посмотришь, что из него лепить надо, ты же у меня умный. Прощай, сынок! А теперь я посплю”.

Мама отвернулась, и мне показалось, что она уснула. Через два часа я принёс ей молока, другого в последние дни она ничего не ела, хотел разбудить её, но она уже была на том свете.

Вот тут-то жизнь и взяла меня в плен окончательно. Я тоже играл на скрипке и гармошке, мне нравилось работать в кузнице, лепить из глины, но женский труд поглощал всё. Владимир работал в поле, он хозяин, он старший, он “отец”, а я “мать”, и двое детей при мне, их надо учить, воспитывать, кормить. А что делать? Рано утром пеку блины, Сашка проснулся и хнычет:

— Гринь, дай блина.

— Сейчас, братик, допеку и сядем завтракать все.

— Гринь, ну, что тебе, жалко? Дай сейчас, совсем живот подвело.

Жалко стало братца, дал ему горяченький блинчик, а тот чуть не в плач:

— Горячо, больно во рту, всё обжёт. Злой ты, Гришка.

Однажды зимой младшие после уборки скотного двора на печке греются, я варю пшённую кашу, варю и пою да периодически кашу пробую, Сашка наблюдает.

— Гришка, каши дай.

— Не дам, ещё не разварилась.

— А сам ешь.

— Не ем, а пробую, — и опять ложку в рот.

— Смотри всё не съешь, нам оставь. Володька вон целый день работает, ему каши много надо.

Пришло время, сели за стол, налил молока, открыл чугунок. Сашка ахнул и толкает Ваню в бок:

— Гляди, братка, наш Гришка колдун, ел, ел кашу без нас, а чугунок полный, аж с верхом.

— Будешь причитать и просить, перестану колдовать. А ты вырастешь и узнаешь, что любая крупа во время варки впитывает воду и увеличивается в объёме, оттого и каши больше становится.

— А что такое объём?

— Это пусть Иван тебе расскажет, он в науках больше разбирается, и объясняет, как учитель.

— Ешь, Саша, не болтай за столом, а то мы всё смолотим. Про квадрат и куб я расскажу тебе перед сном, — пообещал Ваня.

Жили мы вчетвером, и казалось, хорошо справлялись, но пришла пора нашему Володе в армию идти, и так уже отерочку на год давали. В тридцатом году призвали нашего брата-отца на службу, а через год и мне повестка пришла, как ни крути, восемнадцать лет. Наш председатель сельского совета Трифонов в райцентре был, в военкомат зашёл, но разговор был напрасен. Военком твёрдо сказал: “Сейчас отерочку дадим, а по весне следующего года заберём. А вы пока с малыми ребятами решайте. Семья у них большая, пусть старшие младших берут на воспитание. Другого выхода нет”.

Предложения военкома восприняли, как руководство к действию, на Рождество собрался семейный совет, я рассказал о просьбе матери. Решили Ивана отправить в Сталинград к Анне и Николаю, пускай учится, а Сашу забрал Матвей, который жил и работал в Туле на оружейном заводе. Саша с его сыном Петром одногодки были, вот и стали расти и учиться вместе дядя с племянником. Семейный совет решил, что после моего ухода в армию заботы о доме, скотине и земле лягут на Алексея, а по возвращении Владимира всё встанет на свои места.

Настала весна 1932 года, меня подстригли наголо, переодели в военную форму, и начал я проходить курс молодого бойца в войсковой части под Курском. Учили нас стрелять, ползать, ходить строем, колотить ножом и сапёрной лопатой, но как только перевели в боевую роту, моя пехотно-ползучая жизнь закончилась. Наш полк отправился в летние лагеря, потребовался повар в хозвзвод, узнали про мои кулинарные способности и прикомандировали к полевой кухне. Так и прослужил я всю срочную службу при котле, половниках, шумовках, противнях и сковородках, всегда бывал сыт, иногда и пьян, зато без выходных дней и увольнений, вся служба прошла за оградой части да в лесных массивах летних лагерей. Правда, польза от того была немалая, наслушался разных командирских разговоров и про жизнь, и про любовь, и про политику. Заместитель командира по политчасти давал мне много интересных художественных книг, с удовольствием читал Некрасова, Маяковского, Толстого, Горького, Достоевского, стихи и прозу Пушкина, и это позволило мне смотреть на мир по-другому. А вот “Капитал” Маркса, как ни силился, понимал с трудом, а труды Ленина и Сталина нам растолковывали на политзанятиях. Одним словом, стал я лучше соображать, разбираться в людях, постепенно превратился из забитого деревенского парня в человека, который мог обдумать сложившуюся ситуацию, планировать жизнь.

Не хотели меня отцы-командиры отпускать на гражданку, уговаривали на сверхсрочную остаться, видно, блины им мои очень понравились. Ох, уж эти блины! Блины в моей жизни сыграли и положительную, и кошмарную роль, но об этом позже.

В общем, не захотел я служить дальше в армии, и причина для того была: Владимир прислал письмо, что после демобилизации женился и с женой Марией решил жить в Оренбурге, сообщил, что работает шофёром, специальность эту получил в армии. Подумал я тогда об отчем доме, о нашей родной Лысогорке, и в сердце защемило: дом будет стоять разрушаться, а ты будешь сидеть здесь, как в клетке, вставать раньше всех, ложиться позже всех. На гармошке, и той играть некогда, разве что по ночам для подвыпивших офицеров. Воздуху вольного мне захотелось, простора деревенского.

Прибыл я в Лысогорку, почитай, под самый новый 1937 год, с подарками приехал. Братьям и племянникам подарил кому гимнастёрку, кому галифе, а кому и сапоги кирзовые, женщинам по дороге платков разных закупил, слава Богу, денег в армии скопил, а на что мне денежное довольствие было тратить, и так всегда сыт был, одет и обут. Родные встретили с радостью, дом был ухоженным и тёплым.

Нашу свадьбу с Верой сыграли на Масленицу, и зажили мы, как все люди живут. Любил ли я жену, не знаю, но не было у меня горения в груди при виде её. Она женщина приятная, не злобливая, не злопамятная, умела приласкать мужа, уговорить его на дела добрые. Я с Верой не испытывал горести и считал, что это были лучшие годы моей пока недолгой жизни.

В январе 1939 года у нас родился крепкий, здоровый мальчик, сына назвали Евгением, радости в семье прибавилось. Живи и радуйся. И мы радо-

вались, в деревню стали привозить звуковое кино, ставили столбы, чтобы подать в колхоз электроэнергию, провести радио. Всё бы хорошо, но война, будь она неладна, будь она проклята. Вот тут опять жизнь меня взяла в плен. Если вам кто-то скажет, что к войне можно привыкнуть, ни за что не верьте. В конце июля меня призвали в Красную армию, с которой я отступал и отступал на восток страны, причём отступал одним из первых, потому как воевал по своей армейской специальности — поваром при ротной полевой кухне с сотоварищами ездовым Николаем Быковым и помощником повара Артёмом Коловым. Тылы всегда наступали последними, а отступали первыми, правда, часто приходилось и догонять своих под грохот орудий и скрежет танковых гусениц, неоднократно и в бой вступали. Но что бы ни случилось, кухню мы свою берегли и еду бойцам готовили исправно в любых условиях. Потерять на фронте оружие или пулемёт плохо, а потерять походную кухню — беда. Солдат должен есть горячую пищу. Война — это самая тяжёлая работа, а без пищи не поработаешь.

Вот так мы отступали почти год, правду сказать, бывали иногда и тихие дни передышек, когда по неделе и больше сидели, окопавшись, бывали и наступления, но немцы вскоре выбивали нас с освобождённых земель и гнали, гнали на восток.

В конце апреля 1942 года наш полк, который входил в состав 38-й армии, закрепился на небольших высотах северо-восточнее Харькова, успешно отражая удары фашистов. Мы, рядовые, не знали, что готовят командиры, но прошёл слух о скором наступлении на Харьков. В атаку мы пошли 12 мая и продвинулись вперёд километра на три-четыре, ночью передышка, а с утра 13 мая завязались тяжёлые бои. К часу дня обед был готов, мы приблизились к окопам, и тут началось: танки, танки, танки с крестами, бронемашины, мотоциклы, шквальный огонь, и всё на нашу роту. Мы, следуя приказам командиров, начали отходить, только спустили кухню в балочку, а фашисты тут как тут. Кухонный расчёт залёг, но кухня предательски выступала над нами, нас окружили, огонь с нашей стороны из винтовок был слишком слаб против автоматов противника, в перестрелке погиб Артём, а нас с Николаем пленили. Немецкие офицеры по-хозяйски распорядились кухней, нас усадили по своим местам и под охраной отправили к себе в тыл.

На небольшую лесную поляну, окружённую колючей проволокой, мы прибыли только к вечеру. За проволокой около трёх сотен наших солдат оборванных, без сапог, многие были ранены.

— Ты есть кох? — спросил меня офицер из охраны временного лагеря.

Я не знал, что ответить, не понял слово “кох”.

— Он, он кох. Он повар, а я его помощник, — ответил за меня Николай.

— Мы не знаем помощник. Ты есть пленный и ты кох есть пленный. Бери своя еда и давай этим людям. Давай, давай! — рассмеялся офицер с мёртвой головой на фуражке.

Раздавать кашу было не во что, накладывал прямо в ладони.

— Браток, а попить есть? — спросил крепкий коренастый артиллерист.

— Есть вода в термосе.

Я хотел было налить, но подошёл наш пленённый командир, по виду не лейтенант, а из старшего комсостава:

— Ты, товарищ, не спешి воду разбазаривать. У нас здесь почти каждый второй ранен, давай сначала их напоим и накормим.

Артиллерист начал возмущаться, но я парировал:

— Командир дело говорит. Вода в первую очередь раненым.

— Какой он тут командир?! Это они, гады, полстраны сдали и нас до плена довели.

— Ты что, дурак или провокатор? Язык свои прикуси, — рявкнул на него командир.

Раненых напоили, накормили. На всех пленных каши по полной порции не хватило, но по две пригоршни съел каждый.

Утром нас погрузили в товарные вагоны, куда везли — неизвестно, но явно на запад. Иногда состав подолгу стоял, но всех держали в вагонах,

двери открывали только утром и вечером, чтобы опорожнить параша, кинуть несколько буханок чёрствого хлеба и поставить флягу воды. Не помню, сколько дней мы ехали, но всем показалось — слишком долго.

Высадили нас на большой станции. Командир сказал, что очень похоже на Польшу, где-то в пригороде крупного города, а какого — непонятно. Пленных выстроили в колонну, которая растянулась почти на километр, и погнали в окружении охраны с собаками. Шли около суток, без сна, но с привалами, кушать не давали, только воду, и ту не досыта. Изнурённые и полусонные, на следующий день прибыли в лагерь, где он расположен, никто не знал. После короткого отдыха здесь началась сортировка, одних агитировали в русскую освободительную армию, где командовал генерал Власов, других — в разведшколу, третьих — в лагерные каю, кого-то сразу расстреливали, это касалось коммунистов и евреев. Мною не интересовались дня три. Потом начали выявлять мастеров: кузнецов, механиков, столяров, поваров, каковых нас оказалось четыре человека. Нас отвели к столовой, ждали недолго, к нам вышел офицер в эсэсовской форме, холёный, спортивного телосложения тип с постоянно бегающими глазами на лошадиной морде. Переводчик представил:

— Гауптштурмфюрер СС Франц Штангль, комендант концентрационного лагеря Собибор. Сейчас он даст вам задание.

— Вы все повара, это так? — спросил Штангль.

— Так, — ответили мы.

— Сейчас каждый из вас скажет, какие продукты и какая посуда вам нужна, чтобы приготовить ваше любимое блюдо. Я буду пробовать, и тот, кто приготовит лучший продукт для моего вкуса, будет приятно удивлён.

Я заказал муку, молоко, яйца, растительное и сливочное масло, немного пищевой соды, сковороду выбрал сам, приготовил блины и подал их со сметаной и чаем. Не знаю, что готовили другие, но через час меня вызвали к Штанглю.

— Как называется эта еда?

— Блины.

— С чем ещё можно есть твои блины?

— С мясным фаршем, творогом, картофельным пюре, жареной капустой.

— Хочу попробовать с мясом.

Я приготовил фарш пожирнее с жареным луком, напёк свежих блинов, завернул в них начинку и подал.

— Остайся здесь, русский, — скомандовал Штангль.

Я замер и наблюдал, как этот здоровяк поглощает блин за блином, приговаривая: “Шмэк гуд”.

— Как зовут тебя, русский повар?

— Григорий Сафронов.

— Ты есть молодец, Грига. Будешь моим личным поваром, если умешь выпекать хороший хлеб.

— Умею, но для этого мне нужна русская печь.

— Это не проблема, если ты знаешь, как делать русскую печь.

— Знаю.

— Тогда ты мой повар. Отправьте его в Собибор сегодня же и прикажите, чтобы строил свою печь, — дал команду гауптштурмфюрер.

В этот же день меня везли куда-то на поезде, высадили на полустанке, передали другим охранникам и повезли на дрезине. Ехали недолго, впереди я увидел строения, окружённые рядами колючей проволоки в два человеческих роста, вокруг — вышки, на которых стояли охранники с пулемётами. Наряды охраны ходили и между рядами “колючки”.

Лагерь охраняли вахманы, сплошь украинцы-западенцы, которых переодели в эсэсовскую форму и специально обучили охране заключённых, пыткам и издевательствам. Позже стало понятно, что это тупые, ограниченные люди, думающие только о наживе и выдвигениях по службе, они не гнушались никакой, даже самой мерзкой работой ради денег и золота, воровали всё подряд. Сколько было вахманов в лагере, я не считал, может, тридцать,

а может, пятьдесят, они служили во внешней охране лагеря, общаться с ними было неприятно, эти люди хоть и говорили почти по-русски, но на русских похожи не были, ни по духу, ни по повадкам. Хотя с одним из них по фамилии Шкиряк мне пришлось общаться ежедневно, он был моим персональным надзирателем и контролёром, он же первый пробовал пищу, которую я готовил для Штангля.

По прибытии в лагерь Шкиряк и ещё два вахмана помогали мне класть русскую печь в специальной пристройке к столовой, все они были знакомы с конструкцией печи, потому работа шла быстро, всё было готово за два дня. К вечеру вахманы куда-то исчезли, вернулись ночью с заслонкой для устья печи, чугунами, ухватами и прочей поварской утварью, всё было не новое, точно забрали у кого-то. На следующий день я приготовил пробный обед, сварил щи, нажарил картошки с салом, компания вахманов уселась за стол, поставила бутылку самогона, и началась трапеза.

— А ты дывись мовчки, дывись, як жить надо, Гриша. Горилку пити тоби з намы не можно и вообще ничего не можно. Нам тоже не можно, но мы вумни, а ты тупый москаль, — сказал Шкиряк и заржал, как сивый мерин.

Так вот и началась моя жизнь в плену: вставать рано, печь хлеб, готовить блины, вареники с разной начинкой, сырники, пельмени, борщ, супы, каши. Аппетит у Штангля был отличный, жрал он за троих, а ещё разные комиссии, гости либо ночные попойки с пленными женщинами, потому из кухни я почти не выходил. Относительный отдых был, когда комендант лагеря ненадолго уезжал. В один из таких дней, сидя на пороге кухни и не спеша потягивая сигарету, увидел я, как въехал в лагерь эшелон, вагоны паровоз толкал сзади. На перрон по команде вышли люди — около четырёх сотен человек с чемоданами и узлами в руках, их разделили: мужчины — направо, женщины — налево. Прибывшие начали раздеваться, аккуратно складывая отдельно обувь, отдельно — одежду, оставаясь совсем голыми, держа в руках паспорта, деньги и драгоценности. После недолгого стояния женщин повели в барак с названием парикмахерская, а мужчин — в баню.

Я пошёл заниматься генеральной уборкой кухни, делать заготовки к приезду Штангля, сварил обед себе и Шкиряку, а вечером вышел на воздух и вспомнил о прибывших вновь заключённых, что-то их не видно и не слышно.

— А где эти люди, которых привезли утром? — спросил я у Шкиряка.

— Гриша, так разве ж то людины, то жиди, жиди пархатые. Их вже нема, воны уси зустрічаються со своим Богом.

— Как нема, их что, убили?

— Та ни. Им просто в камерах, что баней зовутся, дали подышать танковым выхлопным газом, так вони и вмерли.

Я не знал, что сказать, опустил руки, долго молчал, потом спросил:

— А зачем немцы их убивают?

— Ну, Гриша, ты зовсим тупый. Ты шо, теорию нацизма не читав, чи шо? Ты шо не чув, шо немцы это высша раса, людины другого сорта — це мы с тобой, а ще е нелюдины, це жиди и цыгане, от их и треба вбивати, треба землю от усякой поганой твари отмыти.

Прошло два дня после события, перевернувшего всю мою душу, как довольный обедом Штангль спросил меня:

— Грига, ты что так за евреев переживаешь? У вас в деревне евреи были?

— Никак нет, — ответил я

— Тогда ты счастливый человек, Грига. Евреи — это нелюди. Это они у вас революцию сделали, это они убили всех ваших умных людей, чтобы не мешали им обманом наживать деньги. Евреи с помощью денег пытаются управлять миром. Но мы немцы — высшая раса — не дадим им это сделать. Мы уничтожим, искореним еврейское семя. Мы и только мы — немцы — можем без жалости это сделать. А вы, славяне, слишком сентиментальны и тупы, вот вас и обманывают. Иди, Грига, работай и запомни: нелюдей жалеть не надо. А наш лагерь есть лагерь уничтожения евреев, мы главные санитары мира, и мы его очистим.

С тех пор душа моя онемела и опустела, я замолчал, нет, я не стал глухонемым, слух мой и память, наоборот, обострились, я старался понимать немецкий язык, а говорить перестал, особенно при тех, кто понимает русский, а значит, и докладывает, других, с кем можно было говорить, в лагере не было.

Лето стояло нежаркое, часто перепадали дожди, воздух наполнял аромат сосны и можжевельника, можно было подумать, что здесь дом отдыха, если бы два-три раза в неделю не прибывали эшелоны с “расходным материалом”, так называли немцы и вахманы людей, которых привозили на смерть. Бедняги и не подозревали, что их скоро убьют, им внушали, что они приехали работать, но для размещения в лагере необходимо пройти санитарную обработку, потому они покорно раздевались, аккуратно складывали свои вещи, беспокоились о том, чтобы после обработки их не перепутали, затем без слов люди, как овцы, шли по маршруту до тех пор, пока их не начинали вталкивать в газовые камеры, и именно тогда на весь лагерь и окружающий лес летели душераздирающие крики безвинных жертв. Эти крики проникали в душу, разрывали сердца людей, но они не трогали ни палачей, ни тех, что считали себя высшей расой, ни тех, у кого чистый славянский корень сгнил, а остатки питающих организм жил сосали только яд, только дерьмо фашизма. Вопли идущих на смерть людей кормили и стимулировали извращённый разум чинов СС, они придавали им силы и бодрость, звероподобные особи соревновались друг с другом в изощрённости методов умерщвления людей. Так кто же был нелюдью?

Я всё больше и больше ненавидел Штангля и думал, как его отравить. Но чем? Но как это сделать? Каждую порцию еды сначала ел Шкиряк или я, а когда комендант отбирал себе женщин из новой партии смертников для ночных забав, он кормил и поил сначала их. Этот гад ласково, как херувим, просил их открыть ротик и аккуратно, со стороны казалось, что с любовью, вкладывал туда лакомый кусочек и целовал жертву в щёчку. Отравление было невозможно, потому я искал другие методы, продумывал варианты, но ничего толкового придумать не мог. Тогда решился я на крайнюю меру — просто зарезать Штангля ножом, а там будь, что будет. С ножом проблем не было, нужен момент, ведь мы с палачом почти никогда не оставались один на один, рядом всегда крутился Шкиряк, переводчик или надзиратель. Но я ждал момента, упорно ждал.

Однако в один из дней августа рано утром меня разбудил Шкиряк:

— Давай прощайся, Гриша.

— Тебе что, новое место определили, переводят в другой лагерь?

— Тебе, Гриша, определили. Собирайся быстрее, не чешись.

Опять усадили меня на дрезину и повезли, ехали в основном по лесу и въехали в новый лагерь за оградой из нескольких рядов колючей проволоки. Охрана здесь оказалась внушительней, чем в Собиборе, вышки выше, стояли чаще, а территория — раза в три больше. Все лагерные здания построены, как по линейке, на них вывески: парикмахерская, баня, лазарет, столовая, пекарня, гараж, бензokolонка, по всему лагерю — бетонные дорожки, вдоль которых — молодые берёзки.

Меня с охраной высадили на платформе железнодорожной станции.

— Это что за место?

— Читать надо, русская свинья, — ответил конвоир.

Я уже давно прочитал, что станция называется Треблинка, значит, так называется и лагерь. Я понимал: раз меня привезли одного, это выходит — не убивать, значит, ещё поживу. Подошли к зданию комендатуры, какой-то вахман-хохол скомандовал:

— Пошли, москаль, со мной, будем печь строить. Это приказ самого Франца.

Всё для постройки печи было готово, к ночи сложили, на другой день обмазали, на третий побелили. Подручного моего, вахмана, звали Микола, работник хороший, и что мне очень понравилось, большую часть времени молчал, без дела, как Шкиряк, не трещал.

Провели пробную топку, всё в порядке, сварили супчик, похлебали.

— А ты и вправду хороший повар, Гришка. Иди, отдыхай. Завтра будешь готовить любимые блюда своего хозяина Штангля, он будет к обеду. Да по лагерю, смотри, сам не ходи, а то пристрелят, здесь строго. Тебе разрешено только в свой барак, на кухню, продовольственный склад, пекарню, в баню по команде, душ и туалет при кухне, — предупредил Микола.

На следующий день прибыл Штангль, которого торжественно встречали, построение, речи, затем обед, обедали со вторым комендантом Куртом Францем, странное совпадение: у одного имя — Франц, у другого — фамилия, но оба были “мастерами смерти”. Курт за столом ел умеренно, но любил во время трапезы пропустить рюмочку-другую шнапса, после еды — порцию коньяка, который всегда был при нём во фляжке.

Через сутки мне приказали готовить большой банкет человек на двадцать. В этот же день в лагерь прибыла первая партия евреев-смертников, около тысячи человек. Как и в Собиборе, процедура одна: раздевали, сортировали одежду, мужиков и детей сразу в газовые камеры, женщин в парикмахерскую, где стригли, волосы готовили для отправки в Германию, а их владелиц — на тот свет. В живых оставили около 50–60 крепких мужиков для захоронения трупов, да отобрали двадцать женщин помоложе и красивее. Женщинам выдали праздничные наряды, лагерные портные всё подогнали по размерам, парикмахеры уложили волосы в модные причёски, припудрили лица. Я видел этих красавиц на ночном банкете-оргии в честь первой партии уничтоженных людей в лагере смерти Треблинка-2. Коменданты лагеря, их подручные и два эсэсовца из Берлина напились, как последние свиньи, насильовали женщин, менялись ими, издевались, а к утру начали бросать их с вышки, соревнуясь, у кого какая лучше летит, а потом добивали их внизу. Сволочи! Нелюди!

С этого времени я совсем перестал спать и твёрдо решил, что лучше погибнуть, но унести с собой на тот свет несколько этих гадов. Я по-прежнему молчал и думал, присматривался к людям, старался прочитать в их глазах, на их лицах, есть ли те, кто хочет отомстить.

А между тем в Треблинку всё прибывали и прибывали эшелоны, и каждый раз около тысячи человек заканчивали жизнь в газовых камерах, однако бывало, и по два состава приходило, людей в вагоны набивали, как сельдей в бочку. Роторные экскаваторы не успевали копать рвы для захоронения трупов. Дни были адом. Сколько я насмотрелся и наслушался рассказов вахманов о том, как убивали людей вне газовых камер. Штумпфе по кличке Смеющаяся Смерть убивал людей и хохотал, каждая смерть вызывала в нём приступ смеха, он убивал и хохотал, хохотал и убивал. Фольксдойче из Одессы Свицерский был прозван Мастером Молотка — одним ударом проламывал череп жертвы, от удовольствия изо рта пускала слюну. Эсэсовец Прейфи устраивал засады у помойки, куда приходили оголодавшие люди поесть картофельных очисток, он заставлял их открывать рот, стрелял в него, приговаривая: “Это еда на всю оставшуюся жизнь, больше есть не захочется”. Шварц и Ледеки в сумерках стреляли заключённых, соревнуясь, кто больше убьёт, а потом среди луж крови, накачавшись пивом, пели сентиментальные немецкие песни. Это был не лагерь, а какой-то зверинец, где верховодили хищники неизвестной породы с извращённой психикой.

Вечно холёный комендант Курт Франц натренировал свою овчарку так, что она, выпущенная в толпу голых мужчин, вырывала одному из них половые органы и на глазах у всех жрала их.

Нет, не было предела изощрённым пыткам и издевательствам, не было сил смотреть на это, слышать об этом. Но всё это было! Было и совершалось уродами, которые называли себя сверхчеловеками.

Я старался работать как можно больше, чтобы уставать, думал, буду спать ночью, но ночь превращалась в кошмар, в неглубоком сне мелькали кровавые люди, кричащие дети, плачущие женщины и смерть, смерть, всюду смерть. Я устал. Я отчаялся. Но есть Бог, есть! Я молил, просил у Бога смерти, но он принял другое решение.

Ближе к концу зимы стало известно, что в Треблинку едет Гиммлер. Но раньше руководителя СС прибыла охрана, врачи, повара, парикмахер. Всю нашу службу, в том числе и меня, отстранили от дел и приказали сидеть в своих бараках. Сидел я в своей каморке и играл на гармони, которую ещё осенью выпросил у Штангля, увидев в куче вещей, сложенных смертниками на перроне, хорошая была гармошка, настоящая шуйская. Играл я на ней и тихонько пел “Степь да степь кругом...” В каморку потихонечку вошёл капо нашего барака чех Иржи, присел рядом, послушал:

— Хорошая песня, грустная, как и все русские песни.

Я кивнул.

— А что, Гриша, есть в России весёлые песни?

— А тебе веселиться хочется?

— Хотелось бы повеселиться, но не сегодня. До веселья ли голодным людям?

— По тебе не скажешь, что ты умираешь с голоду.

— Не обо мне речь, Григорий.

Я молчал, наигрывая мелодию песни “Славное море, священный Байкал”.

— А эту песню я знаю, — похвалился Иржи.

— Откуда?

— Бывал там в 1919 году в составе чехословацкого батальона.

— Так ты белогвардеец?

— Эх, Гриша, Гриша... — Иржи встал и пошёл к выходу.

— Стой. Зачем приходил? Так вот, знай, что бы ты на меня ни донёс, ни Штангль, ни Франц не поверят.

— Потому и приходил, что человек ты надёжный. Я за тобой давно наблюдаю. Думаю, ты свой парень и фашистов ненавидишь.

— Не бери на понт. Я не фраер дешёвый, — почему-то по-блатному ответил я.

— Я это знаю. Знаю, как ты по ночам во сне кричишь, как ты проклинаешь наших сегодняшних хозяев.

— Много будешь знать, скоро состаришься.

— А ничего не будешь знать, скоро умрёшь, как собака.

— Тогда говори, что мне нужно знать.

— Пока ничего не скажу. Но есть люди, верные люди, которых надо бы сейчас подкормить. Справишься, будем говорить дальше.

— Сколько человек подкормить?

— С пятью справишься?

— Справлюсь и с десятью. Хлеб — он, как известно, припёк даёт.

Дальше мы обговорили время и место, где Иржи будет забирать хлеб и остаток еды с барского стола. Дело пошло, настроение у меня стало лучше. Я догадался, что меня ввели в тайную организацию, готовящую восстание в лагере. Кто её руководители, я не знал.

Вскоре после отъезда Гиммлера работы у меня прибавилось, провианта для заключённых понадобилось больше, потому как увеличили зондеркоманду, шеф СС приказал эксгумировать все трупы и сжечь. Мне стало ясно, что бойцов в тайной организации прибавилось, я старался, как мог. Старания мои постепенно привели к доверию.

Весной, когда начало припекать солнце, когда появилась первая листва и открытые могилы тысяч и тысяч умерщвлённых людей стали чадить трупным запахом, Иржи рассказал мне о сути организации, сообщил, что в ней уже достаточно людей для подготовки и проведения восстания. Вся организация разбита на пятёрки, члены которой знают только своего командира, а тот, в свою очередь, знаком с начальником направления. Иржи с недавних пор возглавил направление материального обеспечения организации восстания, до него этим направлением руководил варшавский врач, который отравился, чтобы не проболтаться на пытках. Курт Франц обнаружил у него в кармане пачку денег. Деньги подпольщики собирали для обеспечения бежавших восставших, дав им возможность приобрести одежду, еду на первое время, а может быть, и заплатить за транспорт, чтобы уехать подальше от этого страшного места. Франц задал себе и доктору вопрос: “Зачем заключённому-смертнику деньги?”

Врач молчал, его хотели пытать, но не успели. Организаторам восстания пришлось на время притихнуть, усилить конспирацию.

— У тебя, Григорий, есть своё задание, ты отлично с ним справляешься, у людей появились силы, они способны драться, для этого уже накоплено оружие, немного взрывчатки и кое-какие инструменты для побега. Ближе к дате восстания ты будешь оповещён, что должен будешь делать и на каком участке.

Я ждал, я верил, ночью в полудрёме думал о своей деревне, жене, сыне, представлял, как паху наши поля, как убираю хлеб, как люди улыбаются друг другу. Особенно настроение улучшилось, когда в конце весны узнали, что Красная армия ещё зимой разбила фашистов под Сталинградом и гонит, гонит их на запад. Я уже не мечтал отравить комендантов, я жаждал убить их во время восстания, убить и бежать, однако я был далёк от всех замыслов организаторов, судьба готовила мне другую роль.

В один из самых жарких дней июля Иржи предупредил меня, чтобы я под любым предлогом ночью был на кухне, мне принесут на хранение сапёрные кусачки для “колючки”. О восстании я буду предупреждён за несколько часов, а пока необходимо надёжно спрятать инструмент. Как только всё начнётся, к тебе прибегут семь человек, ты восьмой, ваша задача проделать в проволочном заборе проход между двумя вышками ближе к лесу.

— Вот между этими. — Иржи показал вышки через окно.

— А как же пулемёты на вышках?

— Это не твоя забота, брат, когда вы подойдёте, на вышках уже не будет ни пулемётов, ни охраны. Как только сделаете проход, бегом в лес и врассыпную, дальше ориентируйтесь сами. Через сутки место встречи в лесу в двух километрах северо-восточнее деревни Вулька. Всё понял, друг мой?

Мы обнялись и расцеловались.

— Удачи нам, Иржи! Бог даст, встретимся.

Вечером первого августа вроде бы случайный заключённый, проходивший мимо крыльца кухни, где я перекуривал, не поворачивая в мою сторону головы, сказал:

— Завтра утром на рассвете ты должен быть здесь.

Я всё понял, но меня мучила одна мысль — как быть с комендантами, как с ними посчитаться. Убить их вечером — значит, провалить восстание, а ночью я к ним не подобрюсь, значит, не судьба мне уничтожить эту мразь, а жаль. Я был опять в плену у обстоятельств.

Ночью я не спал, время тянулось. Решил пойти на кухню ещё до рассвета, но не прошёл и половины короткого пути, как меня остановил внутренний патруль.

— Стоять! Руки вверх!

Я выполнил команду.

— Ты куда идёшь, свинья?

— Я не свинья, я личный повар господ комендантов. Мне необходимо приготовить завтрак для гауптштурмфюрера Штангля, он сегодня рано утром уезжает, — нашёл я немецкие слова.

— Опусть его, Кнюфке, это Грига-кох, — приказал старший наряда.

— Давай быстрее, бегом и не болтайся по улице, — прикрикнул Кнюфке, толкая меня прикладом в спину.

Светало, который час, я не знал, часов у меня не имелось, зато окна были открыты, на улице уже всё видно, рассветная тишина, и вдруг сухо рывкнул револьверный выстрел, следом — несколько ружейных, заговорили пулемёты и взрыв, мощный взрыв, это было взорвана бензоколонка, пожар охватил строения вокруг. Я достал из укрытия сапёрные кусачки, и тут же поспели мои сотоварищи, знакомиться некогда, на подходе к проволочному заграждению наша восьмёрка уже стала семёркой, а когда проход был готов, нас осталось четверо. Я отчаянно бежал в лес, не выпуская из рук весистый инструмент. Сзади бушевал пожар, непрекращающаяся стрельба, крики, лай собак, а я бежал и бежал. Вот она, речка, небольшая, прохладная, напился воды и пошёл вверх по течению. Сколько шёл, не помню, но дошёл

до поляны, где лес расступался, речка расширялась и образовывала плавни, зашёл в камыши, отыскал укромное местечко и решил отдохнуть. Отломил краюху хлеба, жевал, запивал водой и слушал. Стрельба вроде бы прекратилась, но лай собак слышался повсюду, и всё ближе и ближе ко мне. Я сел на дно, вода доставала до шеи, камыш густой, но кое-какие участки берега мне были видны. Собачий лай стал слышен совсем близко, а потом стал удаляться, затем послышался с другой стороны, ясно, что не одна группа эсэсовцев и вахманов бросилась на поиски беглецов. В небо по-прежнему поднимались клубы чёрного дыма, а вокруг слышны были какие-то шорохи, треск сухих веток, скорее всего, это звери убежали подальше от пожара.

Я ждал в воде, к вечеру начал мёрзнуть, но на берег выбраться боялся, однако и сидеть в воде дольше было нельзя. Вышел, отжал одежду, залез на большую берёзу, устроился между ветвей, подремал, как мог, а на рассвете — снова в воду. Три дня поисковые группы ходили по лесу вокруг лагеря, дважды приближались к плавням, но собаки мой след не взяли. Ни о каком походе к деревне Вулька, где была назначена встреча, даже думать было нельзя. На четвёртый день всё успокоилось, окрестности притихли, но запах пожара ещё висел в воздухе. Я не знал, куда идти, но решил, что на восток безопаснее, посушил выданные мне перед восстанием рейхсмарки и пошёл, осторожно ступая. К вечеру вышел к какому-то хутору, но входить в него не стал, устроился на дереве, стал наблюдать. В хуторе чуть больше десятка домов, мужики возвращались с полей, женщины встречали скот с пастбищ, работали во дворе. Стемнело, в окнах зажглись огни, ничего подозрительного я не увидел, но решил переночевать в лесу, и не напрасно. Рано утром в хуторе появились эсэсовцы, много эсэсовцев и вахманы, они вошли сразу во все дома, выгнали крестьян из жилья и начали обыскивать постройки, протыкать штыками сено. Искали до обеда, но никого не нашли, и, оставив охранять хутор восемь вахманов, удалились восвояси.

Да, здесь пока делать нечего, и я отправился бродить по лесу в поисках какого-нибудь жилья. Думаю, что ходил я по кругу, потому что снова вышел к своим плавням. Плохо я ориентируюсь в лесу. Примерно через неделю, гонимый голодом, — лесной ягодой не насытишься, — вышел к тому же хутору, вахманы исправно несли службу. Что делать? Делать нечего, надо ждать.

Прошла ещё неделя, а может быть, больше, счёт дням я уже потерял, голод и неопределённость звали меня к людям, но хутора охранялись. Не помню, сколько прошло ещё дней, ночью в полусознательном состоянии я пробрался во двор третьей от края избы, залез на сеновал и зарылся в сено. Сколько я спал, не знаю, но разбудил меня запах молока, в желудке засосало, и я потерял сознание. Очнувшись, увидел молодое красивое женское лицо.

— Молока, — прошептали мои губы, — молока.

Она молча спустилась, принесла кружку парного, и я жадно попил.

— Ещё, ещё, прошу ещё.

— Ты много дней не ел?

— Много, но не знаю, сколько.

— Больше уже не нужно, живот заболит. Лежи тихо. Я приду к обеду и принесу еду. Только прошу пана, тихо! Ни на чей голос, кроме моего, не отзывайся. Спи, тебе надо спать.

Я опять уснул и, похоже, надолго. Девушка пришла после вечерней дойки.

— В обед я приходила, но ты крепко спал. На, поешь.

Вкуснее в мире я ничего не ел! Это была ячневая каша с молоком и хлебом, но мало, хотелось ещё и ещё, но моя добрая фея сказала:

— Хватит. Терпи, завтра будет больше. Теперь ты с голоду не умрёшь...

Ты бежал из Треблинки?

Я кивнул.

— Но ты не похож на еврея.

— Я русский.

— О, matka боска! Этого нам ещё не хватало.

— Что испугало тебя, красавица?

— За выдачу всех беглых из Треблинки немцы объявили большие награды, но больше всех — за русских.

— Как зовут тебя, девушка?

— Я — Агнешка. А ты?

— Меня зовут Григорий.

— Гри-го-ри. Это сложно. Лучше по-нашему — Гжегош. Так тебе подойдёт?

— Да называй меня хоть горшком, только в печь не сажай, — ответил я русской поговоркой.

— А зачем тебя в печь? Ты же сгоришь там. Раз ты выжил в огне Трешлипки, значит, тебе долго жить. Я тебя не выдам.

— Спасибо. — Я вынул из укромного места немецкие марки и протянул Агнешке.

— Ты меня покупаешь?

— Нет. Эти деньги мне ни к чему. Куда я могу пойти с ними без документов, что куплю? А ты найдёшь, на что потратить.

— Спасибо, Гжегош, только пусть они пока побудут у тебя. Вдруг отец увидит их, начнёт спрашивать: где взяла? Я ему пока про тебя не скажу, а больше рассказывать некому, мы живём вдвоём. Мама моя ещё до войны умерла. Конечно же, отец узнает, что ты прячешься у нас, но лучше это будет позже, когда вас закончат искать, прекратят все облавы. А сейчас спи, тебе надо набираться сил.

Вот так началась моя новая подпольная жизнь, почти год я общался только с двумя людьми, но это было приятное общение. То были люди добрые, сердечные, и, конечно, главной в моём новом плену была Агнешка. Хозяин дома, пан Станислав Гаевский, утром уезжал в поле с работником, который жил тут же, на хуторе. В сентябре в поле работ хоть отбавляй: убирают картофель, кукурузу, подсолнечник, поздние сорта капусты и ещё много чего, что зимой кормит и людей, и скот. Работал Гаевский, как и все крестьяне, с рассвета до заката, так же работала и его дочь, только дома. Девушка ухаживала за скотиной, доила, варила сыры, готовила пищу, ткала, пряла, вязала, шила, дом в чистоте содержала. А теперь у неё появился помощник Гжегош, человек-невидимка. Я же быстро набрался сил и с середины сентября чистил скотный двор, кормил скотину, часто готовил еду, и ничего не ведающий пан Гаевский нахваливал дочь за вкусные завтраки, обеды и ужины, но мне этой работы было мало. Увидел я как-то гончарный круг, попросил Агнешку принести глины и давай кувшины да крынки делать.

Время пошло быстрее, вести с Восточного фронта приходили хорошие — наши теснили немцев на всех направлениях, постепенно освобождали Украину и Белоруссию, а это значит, что не за горами день, когда вступят на территорию Польши, вот тогда и повоюем.

Осень постепенно переходила в зиму, на сеновале стало холодно, и мы с Агнешкой решили открыться её отцу. Не по годам умная оказалась Агнешка Станиславовна, мудрая. Как-то вечером взяла пару моих гончарных изделий, которые мы тщательно прятали на скотном дворе, и пошла показывать отцу.

— Как изделия, папа?

Станислав покрутил их в руках и заключил:

— Добрые, очень добрые вещи. Где купила и за какие деньги?

— Не купила, наш домашний мастер сделал.

— Домовой, что ли? — улыбнулся отец.

— Ну, и так, и не так. Хочешь, познакомлю?

— С нечистой силой не знакомлюсь, — перекрестился пан Гаевский.

— Да нет, отец, он обыкновенный человек, русский, убежал из Трешлипки и уже больше двух месяцев живёт у нас.

— Как у нас?

Я стоял за дверью, слышал весь разговор и понял, что мне пора войти, не дожидаясь приглашения.

— Здравствуйте, пан Станислав, меня зовут Григорий Сафронов. Я действительно беглый заключённый из Трешлипки. Хочу сказать вам огромное спасибо за приют, который предоставила мне ваша семья.

Станислав пару минут не мог оправиться от шокового состояния, потом рассмотрел меня и строго сказал:

— Приют тебе никто не предоставлял, ты сам, как вор, пробрался в мой дом, жил, ел, пил, скрываясь, как преступник.

Я молчал, возражать было нечего. Но Агнешка! Моя золотая Агнешка!

— Папа, виновата я. Он давно хотел предстать перед твоими очами, но я запрещала, зная твой норов. Боялась, что переживания скажутся на твоём больном сердце. Сейчас фашисты уже не ищут беглых узников, а Гжегош человек тихий и мастеровой.

Пауза была длинной, она, как острая коса, висела в воздухе, и только один пан Гаевский знал, куда она упадёт.

— Ладно, садитесь за стол, ужинать пора. Дочь, принеси нам чего-нибудь покрепче, нужно выпить с незванным гостем, который у них хуже татарина, а у нас, не приведи Господь, немцев накличет.

Выпили по одной, по другой, Станислав стал мягче:

— Давай-ка, расскажи о себе, Гжегош.

Я подробно всё рассказал о своей жизни, о плене, о восстании, о побеге.

— Да, брат, жизнь у тебя не сахар. Куда же тебя теперь девать?.. Выгонишь, ты, как есть, пропадёшь без денег и документов.

— Деньги есть. — Я выложил на стол рейхсмарки.

Пан Гаевский пересчитал.

— Не густо, но и это деньги, хоть что-то справить можно.

— Мне ничего не надо. Мне бы перезимовать где-то, а там наши близко будут, пойду им навстречу.

— Перезимовать — это правильно, идти сейчас никуда нельзя. Ваши только Киев вернули, до нас ещё километров семьсот с гаком. Конечно, русские бьют немцев, но не так быстро. Живи пока. Только где тебя спрятать? В бане нельзя, мы её топим не чаще двух раз в неделю, каждый день топить невозможно, соседи — народ очень любопытный.

— А если я сам дом осмотрую, может, что и придумаю.

— Ладно, закусьвай пока, утро вечера мудренее.

Спал я в ту ночь на сеновале, а утром определили мне место за печкой, там же решили соорудить фальшстенку, прикрыв её шкафом, где в случае облавы я бы мог спрятаться. Однако, слава Богу, ни одной облавы, ни одного обыска.

Жили мы дружно, я работал в доме и на скотном дворе, гончарничал, ткал полотна. Мы часто оставались с Агнешкой дома одни, я чувствовал, что смотрит она на меня влюблёнными глазами, да и во мне играла молодецкая сила, но я сдерживался, старался не подавать виду, терпел. А весна торопилась, на улице уже забарабанила капель, солнце поднималось всё выше и выше, разогревало землю, на проталинах зазеленела трава, появились подснежники, и в наших душах зацвели сады. Сдержать свои порывы ни она, ни я не смогли, страсть победила нас, и мы совершили то, что не положено делать без свадьбы, и не жалели об этом. Я думал, Агнешка будет плакать, а она прижалась ко мне и зашептала слова любви, мы были на седьмом небе. С тех пор при первой же возможности мы предавались любовным утехам. С каждым днём я всё больше и больше понимал, что впервые в жизни по-настоящему полюбил женщину и навсегда. Я старался не думать о доме, не вспоминать о жене, и только сын не давал мне покоя, приходил ко мне во сне почти каждую ночь, смеялся и обнимал меня. Какой он сейчас? Вырос, наверное. Но начиналось утро, я видел любимую, её личико, её руки, её фигуру, которую не портил даже тяжёлый деревенский труд, в моей душе играла музыка. Подпольная жизнь начала казаться мне раем, торжеством жизни, вечным счастьем.

После посевной, когда на полях появились дружные всходы, я начал замечать, что Агнию тошнит. Девочка моя пыталась скрывать это от моих глаз, но ни от моих, ни от отцовских очей беременность со временем скрывать стало невозможно.

Станислав говорил со мной резко.

— Ты знаешь, что за это бывает?

— Знаю и готов нести ответственность.

— Какую, к чёрту, ответственность?! Жениться тебе на ней надо!

— Я готов! — И это было сказано мною твёрдо. — Но как? Я ведь сейчас никто, не русский, не поляк, так, человек без имени.

— Ничего, подойдут ваши поближе, у немцев начнётся суматоха, вот тогда за деньги, за драгоценности можно справить тебе любой паспорт. А пока учи польский язык, Казанова.

Польский я почти выучил и так. Правда, акцент у меня был выраженно русским, и читать я по-польски не мог. Принялся за учёбу, очень старался, любовь моя помогала преодолевать все преграды, музыкальный слух — исправлять акцент. Учил, любил, а сам думал: “Кроме паспорта, ещё нужно иметь какую-то легенду тридцатилетней жизни: где родился, где крестился, где учился, кем работал до войны, знать историю и географию Польши. Можно ли превратиться в поляка за два-три месяца? Наши уже на подходе и летом будут здесь. Если провал, если раскроется неправда... Тогда конец всему, тогда расстрел. Нет, лучше всего быть самим собой, добраться до своих, рассказать всю правду, а там будь, что будет”.

Я начал делиться сомнениями с Агнешкой, она их разделяла, особенно после того, как узнала, что в СССР считают всех попавших в плен предателями Родины. Она всё понимала, но хотела одного: чтобы я был с ней, я тоже этого искренне хотел. Станислав также принял мои сомнения, думал, гадал, однако ничего толкового предложить не мог. А время шло, лето в разгаре, началась уборка хлеба. Гаевские оба в поле, я хозяйствовал дома, втайне от посторонних глаз. В тишине уже отчётливо слышалась канонада советских орудий, а по ночам на востоке виднелось зарево жестоких боёв. Я решил идти навстречу нашим, перейти линию фронта, рассказать всё как есть, попросить вновь доверить мне оружие и воевать с фашистами до победы или до смерти.

Сегодня вечером прощаюсь, завтра, 1 августа 1944 года пойду к своим. Закончу войну, вернусь сюда к Агнешке, к новому ребёнку и буду жить в любви. Господи, пусть простит меня моя жена Вера, пусть простит сын Евгений, но свой выбор я сделал.

Эти свои записи оставляю любимой и дорогой мне Агнии Гаевской и моему будущему ребёнку. Григорий Сафронов”.

Виктор отложил в сторону тетрадь, в воздухе висела тишина, первой прервала молчание Агния Станиславовна:

— Есть ещё одно письмо от Григория, которое я получила уже после войны.

Она извлекла из ящичка солдатское письмо-треугольник, аккуратно развернула его и передала Виктору.

“Милая, дорогая, любимая моя Агнешка, здравствуй! Как ты поняла, я остался жив. Я перешёл линию фронта и был арестован своими, родными, советскими солдатами. На допросах не поверили ни одному моему слову, пытались били до потери сознания, хотели выяснить, в какой разведшколе я учился, какое задание получил от фашистов. Допросы длились много дней, на одном из них следователь сказал, что в их руки попали списки пленных, работавших в обслуге Треблинки-2, там есть и моя фамилия, но о том, что я сбежал во время восстания, сведений нет. Теперь всё доказано, ты работал на немцев, кормил врагов, помогая им убивать людей. Потом состоялся суд, и опять Бог дал мне шанс, в составе “тройки” трибунала оказался один из моих сослуживцев по срочной службе до войны. Он не подал вида, что мы с ним знакомы, и настоял на замене расстрела на службу в штрафном батальоне, дабы смыть кровью свои грехи перед Родиной. Я шёл, я специально лез на пули, ходил в атаку в полный рост, дрался в рукопашной, но ни пули, ни штыки меня не брали. За это время состав батальона поменялся раз пять или шесть, а я жил, не имея ни одной царапины. Это тоже плохо, ибо по законам военного времени только пролитая кровь освобождает от наказания.

Сейчас меня и ряд моих товарищей везут под конвоем в СССР, а потому сразу приехать к тебе не могу. Постараюсь передать это письмо, когда будем ехать по территории Польши. Целую тебя, моя родная, ты целуй нашего ребёнка. Я даже не знаю, кто у нас, сын или дочь. Привет отцу твоему

Станиславу. И поверь мне, Агнешка, я буду делать всё, чтобы приехать к вам, приехать навсегда. Жди меня, моя родная. Твой Григорий. 1 июня 1945 г.”

Виктор закончил читать, повертел туда-сюда хорошо сохранившееся письмо отца и спросил:

— Агния Станиславовна, а как попал к вам этот солдатский треугольник, на нём ведь нет ни адреса, ни фамилии адресата?

— Письмо это, дети мои, принесла мне одна женщина через месяц после даты его написания. Она торговала на железнодорожном разъезде варёным картофелем. Эшелон, в котором ехал ваш отец, стоял там часа два. Григорий купил у неё весь товар и дал в придачу швейцарские часы, и очень, очень просил доставить письмо, не пользуясь почтой. Вот так-то, дети мои. Давайте поминать отца?

Выпили молча, стоя, не чокаясь, закусывали тоже молча и думали о нём, о Григории Сафронове. Тишину нарушил Виктор:

— Отец вернулся домой в начале сентября сорок пятого года. Мама тогда перепыхивала поля после уборки, Женька при ней. Деревенские мальчишки бежали по полю и что-то кричали. Мама заглушила трактор и услышала: “Григорий Сафронов с войны вернулся”. Она не сразу поверила, похоронка на папу пришла ещё в сорок втором, уже все слёзы были выплаканы. Но мальчишки в один голос кричали: “Гринька вернулся”. Мама схватила Женьку и бегом домой. Отец сидел на крыльчке и курил. Определили папу на жительство в своей деревне под надзором участкового милиционера с условием ежемесячного посещения районного отдела госбезопасности. Так и ходил отец каждый месяц двадцать пятого числа и всегда возвращался оттуда раздражённым. Когда я подрост и начал соображать, понял, что у папы и мамы прохладные отношения, казалось, они жили каждый сам по себе. Отец редко смеялся, часто грустил, на гармошке играл и пел только печальные песни, разговаривал больше с животными, чем с людьми. Коров доил только сам, говоря им при этом ласковые слова. Колхозные кони любили его и понимали с полуслова, хотя он не был конюхом, а только кузнецом. Однажды рядом с конюшней начался пожар, ветер по траве понёс огонь на загон, лошади взбесились, ржали, пытались сломать высокий забор. Никто не решался подойти близко, все боялись идти через пламя. Только отец каким-то чудом перемахнул через жерди и направился прямо к жеребцу-вожаку, тот встал, как вкопанный, папа почесал ему холку и повёл к выходу, открыл ворота, ловко вскочил на жеребца, кони стремглав выскочили за вожаком и на рысях ушли в поле. Все видели, как Григорий развернул небольшой колхозный табун и шагом повёл его к деревне. А улыбался наш отец, только когда радовался успехам детей, он даже сплясал, когда обмывали орден Красной Звезды, полученный Евгением за испытания ракетной техники. Сплясал, хватил ещё рюмочку и добавил: “Знай наших! Крепко сафроновский корень!” Я, как и просил отец, старался учиться, школу закончил в райцентре, с золотой медалью, стал студентом. Перед учёбой приехал домой помочь родителям по хозяйству и вещи собрать, подготовиться для жизни в большом городе. Помню, однажды после ужина отец присел читать газету, читал, читал, потом вдруг бросил газету на пол, вскочил и заходил по комнате, лицо покраснело, в глазах злоба и горечь: “Этот гад, этот урод, мерзавец уничтожил сотни тысяч людей, беззащитных женщин и детей, а ему пожизненное заключение! Сволочи!” Я взял газету и прочёл небольшую заметку, в которой сообщалось, что бывший комендант Треблинки Курт Франц приговорён судом к пожизненному заключению. Тут отец вдруг побледнел и ослаб. Я подхватил его, он был уже без сознания. Наш деревенский фельдшер ничего не смог сделать, сказал, что это похоже на инсульт и везти его никуда нельзя. На следующий день приехали врачи из районной больницы, назначили лечение. Отец пришёл в сознание через три дня, но правая половина тела оставалась безжизненной. Две недели я не отходил от самого дорогого мне человека, поднимал, протирал кожу тела, умывал, делал уколы, поил лекарством, кормил. Первого сентября начались занятия, я уехал в Средневожжск. Маму освободили от работы для ухода, а по вечерам

и ночью ей помогали Евгений и жена его Маша, они жили в деревне, работали в колхозе, Женя — трактористом, Мария — зоотехником. Я же при каждом удобном случае спешил в Лысогорку. Папа всегда радовался моему приезду. Учился я на “отлично”, стал секретарём комсомольского бюро факультета, играл на гитаре и пел в нашем институтском вокально-инструментальном ансамбле. Вскоре случился второй инсульт, и отца у нас не стало, и последние его слова на этой земле были адресованы вам, Агния Станиславовна.

Виктор замолчал, молчали все, всхлипывала лишь Агнешка:

— Да простила я вашего отца, давно простила. Я чувствовала, я знала, что рвётся он ко мне, и души наши во сне встречались часто. Я понимала, что его что-то не пускает.

Они ещё долго беседовали, Агния вспоминала эпизоды жизни Григория на хуторе, её самые счастливые дни.

— Ваш отец, дорогие мои дети, сделал меня счастливой, даже ежедневное ожидание его приезда было для меня счастьем. Это моя жизнь. Сегодня я узнала, что моего Григория уже нет в живых, но у меня появился ты, Виктор, и твой брат Евгений, которого я тоже буду ждать в гости, если ваша мама не будет против.

— Не будет, её уже больше двух лет нет на этой земле. А можно мне здесь переночевать на сеновале, там, где спал отец, а завтра утром — прямо в Варшаву, в аэропорт?

— Конечно, можно, и мама будет рада.

За ужином они крепко выпили и отправились на сеновал. Люба занялась хозяйством, а уставшая Агния пошла спать, во сне пришёл к ней молодой улыбающийся Григорий.

— Ну, как я познакомил своих сыновей?

— Прекрасно, а главное вовремя. Спасибо тебе, любимый.

— Они молодцы, наши сыновья! Ты побудь ещё с ними немного — и ко мне. Я жду тебя, очень жду...